

21.675K

ОТКРО- ВЕНІЕ

№2



1945-1995

7к

ОТКРО- ВЕНИЕ

Ивановская
писательская
организация

Литературно -
художественный
альманах № 2

 1945-1995

Издательство
«Ивановская газета»
Иваново
1995

-- 2010

Александр НЕМИРОВСКИЙ

О Николае Майорове

(Воспоминания)

Все чаще и чаще мне приходится читать воспоминания о Николае Майорове его друзей и исследования, написанные людьми, которые не знали или не могли знать его лично. Чем выше с годами поднимается Майоров как поэт, тем труднее становится о нем говорить. Так что я уже не раз откладывал в сторону перо, чтобы не касаться этой нелегкой для меня темы. Нелегкой не потому, что время вымывает из памяти черты образа. Непросто дать объективную оценку тому, кто был с тобою рядом все годы студенчества, чьи стихи знаешь по первому чтению и даже теперь помнишь их интонацию.

Среди студентов Истфака МГУ набора 1937 года было немало активистов, членов комсомольского бюро, профкома, участников научных кружков и студенческой самодеятельности. Майоров среди них выглядел неприметным. Он не был высок ростом, хотя о своем поколении и писал: «Мы были высоки, русоволосы». Волосы у него были пепельного цвета с проступающей на висках рыжинкой. Москвошвеевский пиджачок, свитер под горло, черные грубые башмаки, длинный шерстяной шарф домашней вязки (он писал о себе «с шарфом, направленным под пояс») - такова его одежда, неброская, как он сам.

Но держался он прямо. В нем чувствовалось внутреннее достоинство. Я бы сказал, что он знал себе цену, понимал свои возможности, ощущал себя поэтом. Будучи студента-

ми Истфака, мы никогда не говорили с ним об истории как предмете, и тем более не касались таких прозаических дел, как сдача экзаменов. История воспринималась как материал для поэзии.

Такие стихи Майорова, как «Рождение искусства», мне думается, навеяны темпераментным чтением лекций по истории первобытного общества профессором Владимиром Капитоновичем Никольским. Но и до поступления на Истфак Майоров писал стихи на исторические темы.

Центром поэтической жизни Университета была творческая группа, объединявшая студентов многих факультетов. Руководителями ее были поэт Е. Долматовский и критик Д. Данин, учившийся на физическом факультете МГУ. Постоянных участников группы было около двадцати. Но иногда выделенное нам помещение в клубе МГУ, им тогда заведовал И. Лавут, прославленный строфом Маяковского, - настолько заполнялось, что приходилось приносить стулья из зала. Являлись просто послушать университетских поэтов или почитать свои стихи наши друзья из ИФЛИ, Юридического института, МГПИ, П. Коган, М. Кульчицкий, Б. Слуцкий, Н. Глазков.

Стихи читались по кругу, а потом обсуждались. Последними выступали руководители (или руководитель). Обсуждения были живыми и интересными. Интересно было и общение. Завязывалась дружба.

Постепенно отсеялись случайные любители стихов. Образовалась группа поэтов, задававших тон. На первых ролях был Майоров, творчество которого набирало силу. Помню, как после одного из чтений Д. Данин лаконично выразил наше общее мнение: «Здорово! Как у Майорова».

В 1939 году Майоров и я стали студентами Литературного института имени А. М. Горького, продолжая учиться в Университете.

В 1940 году нам предоставили возможность напечатать свои стихи в многотиражке «Московский университет». Первой была подборка стихов Майорова, открывавшаяся стихотворением «Мы», ставшим, наряду с некоторыми стихами Когана и Кульчицкого, манифестом нашего поколения.

Для меня Майоров неотделим от предвоенной Москвы. Москва в то время росла еще более решительно и дерзко,

чем в наши дни. Москва надвигалась на Подмоскowie, делая вчерашние дачные аллеи или деревенские улицы своими проспектами. Она росла вглубь, разрушая и поднимая свою собственную историю. Исчезла Китайгородская стена, открыв непривычный взгляд на Политехнический музей. Снесла ряды своих старых домов пушкинская Тверская, став просторной улицей Горького. Возникла Манежная площадь, проведя напрямик путь от Исторического музея к нашему Университету.

У Майорова нет ни одного стихотворения о Москве, ни одного упоминания в стихах слова «Москва». И все же, думается, Майоров не был бы Майоровым, если бы последние годы его недолгой жизни не были связаны с Москвой. От Москвы - масштабность таких его стихов, как «Мы». В них отзвук тех широко раздвигавших горизонт событий, в центре которых была Москва.

Нашим обычным маршрутом была улица Герцена, Тимирязевская площадь, Тверской бульвар, отделявшие наш Истфак от Литературного института. На Тверском бульваре против Литинститута, на том самом месте, где когда-то Б. Пастернак впервые услышал стихи Маяковского в его чтении, мы часто встречали кого-нибудь из молодых поэтов, наших сверстников и друзей, - Когана, Кульчицкого, Слуцкого, обмениваясь иногда приветствиями, иногда - стихами.

Помнится, мы шли через весь город к Таганке. В квартире Бриков-Маяковского можно было подержать в руках недоступные сборники стихов М. Цветаевой, О. Мандельштама, В. Шершеневича, Н. Гумилева. Книги находились на полках, к которым можно было подходить и брать их. Коля читал молча, а его мысли о стихах я узнавал через несколько дней. Темпераментный Коган тут же делился своими впечатлениями.

Коля жил в общежитии. Впервые я там был 31 декабря 1940 года. И еще один раз в 1943 году, когда общежитие было превращено в госпиталь. Коля пригласил меня на встречу нового, 1941 года. Добрался на метро до Сокольников, а далее пешком. Места были знакомые: здесь на заводе СВАРЗ когда-то работала моя мать и я у нее часто бывал. Но до Стромынки я не доходил. Этажи, построенные в каре. Лестница со сбитыми ступенями и длинный

коридор, ломающийся на углах. Коридор - частица моего детства. Зимой целыми неделями, вызывая ярость жильцов, мы гоняли по коридорам нашего Никольского подворья. Но то был узкий коридоришко: под ручку не пройти. А тут ходили парами, и еще оставалось место, чтобы пробежать с огромным медным чайником от титана в углу до дверей своей комнаты.

Комната Коли была угловой на третьем этаже. Шесть или семь кроватей. Колина - в глубине. Это о ней он писал: «моя студенческая койка ногами наглухо вросла». Стол, заваленный газетами и книгами. Пока его разбирали, мыли граненые стаканы и бегали за ними в комнаты девушек, мы с Колей сидели на его койке. Коля вполголоса прочел новые стихи. Конец 1940 - первая половина 1941 были для него самыми плодотворными. В стихах появилась какая-то щемящая сила. После таких стихов мне не хотелось читать ничего своего. Я изложил Коле свой план повторить вместе с ним мой маршрут в Сванетию - туда через перевал Бечо, обратно через Донгуз Орун. И на это лето меня пригласили в Нальчик экскурсоводом. Я рассказал ему о комнате в Вольном ауле, где он сможет переночевать вместе со мной, о ботинках, которые мы возьмем на прокат на складе турбазы. Глаза Коли загорелись. Он прочитал мне несколько строк из моих горных стихов. Он знал мои стихи наизусть, как и я его. Его радовало, что путешествие займет не больше недели и не нарушит его планов.

Нас пригласили к столу. Я вытащил из портфеля мое первое шампанское на первый случайный гонорар. Оно вызвало взрыв восторга. Меня тискали, едва ли не стали качать. Стромынка наполнилась криками и беготней. Новый год встречали во многих комнатах, и перед тем, как сесть за стол, бегали по коридору, чтобы поздравить друзей. На минуту все стихло. Часы отмеряли последние секунды старого сорокового года. Что нам принесет новый 1941? Об этом никто не задумывался. Волновала предстоящая зимняя сессия. Никто вслух не вспоминал о войне, развертывавшейся на полях Европы. Но ведь в только что прочитанных стихах Майорова были строчки:

*И в какой-то немецкой Туле
Для меня отливают пулю...*

Потом, на войне и после, я часто вспоминал Стромынку. Она представлялась мне огромным пароходом, плывущим через века. Борта ее были не серыми с обвалившейся во многих местах штукатуркой, а сияюще белыми цвета Ужбы. Пароход шатало и раскачивало волнами времени. Свистящий холодный ветер врывается через квадратные иллюминаторы, и бумаги, поднятые со столов, носились по комнатам и коридорам огромными белыми хлопьями. И сквозь них по четверо шли строем матросы с лицами моих друзей. Они пели гимн на какую-то знакомую мне мелодию.

Много лет спустя я узнал, что такой гимн действительно существовал:

*Ты диплом и путевку получишь,
Ты всю землю кругом обойдешь.
Будет всюду уютней и лучше,
Но другой ЦСГА не найдешь.*

*Путь наш долог по нашей планете
Все привыкнут тогда к тесноте
Ты соседей по комнате встретишь
В Будапеште иль в Алма-Ате.*

*Ну, а если случится заминка,
Не клонись перед пулей врага,
И пароль твой пусть будет Стромынка,
Будет отзыв твой пусть ЦСГА.*

Этот гимн Стромынке написан не Колей. Он слишком серьезно относился к стихам, чтобы растрачивать вдохновение на вторичные вещи. Но автор гимна, я в этом уверен, находился под влиянием Майорова, духа его творчества. Теснота студенческого общежития и теснота планеты, верность воинскому долгу - это майоровские темы.

Живущему в общежитии, «на людях» иногда хочется побыть одному. Коля брал ключи от моей комнаты на улице 25 Октября рядом с ГУМом. Это было недалеко от Истфака, где мы учились, и там ему никто не мог помешать - волею судеб я жил один. Из огромного «венедианского» окна открывался тесный двор, «зализанный асфальтом», сквозь железные ворота был виден клочок улицы. Дом этот, бывшее торговое подворье, стоит и теперь рядом с ГУМом. Здесь возникла идея одного из недошедших стихотворений Майорова.

В книге Б. Куликова «Николай Майоров» передается устное воспоминание об этом стихотворении с условным названием «Снеготаяльщик»:

«Майоров остановился и прочел стихи о снеготаяльщике... Весна, снег тает и исчезает с московских улиц, и люди, которые убирают этот снег, затосковали: «Как жить дальше?» Они идут в пивную, садятся за столики, смахивают с толстостенных кружек пену и говорят, говорят, говорят - о семье, о мироздании, о бренности всего земного. И, отведя душу, уходят на улицы убирать остатки снега...» В памяти Виктора Болховитинова, нашего общего, ныне ушедшего из жизни друга, остались две последние строчки:

Но умирать им рано:

Еще не выпал их последний снег.

Память В. Болховитинова удивительно точно сохранила то ощущение, которое вызывало это прекрасное стихотворение. Я запомнил обстоятельства создания этого стихотворения. В январе 1941 года во время зимней сессии я получил тройку по педагогике. Это означало автоматическое лишение стипендии и необходимость поисков работы. Коля мне подсказал один из ее вариантов - уборку снега. Он знал, что ребята из стромынского общежития, где он жил, зафрахтовались уборщиками снега и уже два раза приходили за зарплатой, хотя за лопату и не брались - январь 1941 года был в Москве бесснежным. Я попросил Колю побеседовать с ребятами. Но на следующий день после нашего разговора повалил такой снег, что для его уборки пришлось бы работать сутками и не ходить на занятия. Я отыскал себе другую работу, устроился «подопытным кроликом» в Психологическом институте, во дворе Университета. Но мысль о несостоявшейся работе уборщика снега отложилась у меня в строчке:

Еще не выпал наш последний снег.

Воплотить ее в стихотворение мне не удавалось. Я поделился своей неудачей с навестившим меня Майоровым. Его реакция была совершенно неожиданной:

- Отдай ее мне!

Прочитав на моем лице недоумение и нерешительность, он сказал:

- Очень прошу. Понимаешь, очень.

Я понял, что эта строчка ему чем-то дорога, и мы пошли обдумывать будущее его стихотворение.

Мы просидели весь вечер. Коля рассказывал о своем детстве, о брате-летчике. Потом мы пошли к его друзьям-художникам Коле Шеберстову и Мише Ройтеру. Им он был обязан темами нескольких стихотворений, а также замыслом неоконченной поэмы «Скульптор».

Коля пришел ко мне дней через семь. Все это время во дворе моего дома работал большой железный котел, отапливаемый дровами. Это была новинка тогдашней техники - снеготаяльщик. Коля мог его видеть в тот день, когда был у меня в гостях.

Я часто думаю, почему Майорова привлекла моя строчка о последнем снеге. Я далек от мысли, что Майоров предвидел - снег 1941 г. окажется последним лично для него. Но он всею силой своей души предугадал по еле заметным признакам великое испытание, ожидавшее наш народ. Он готовил себя к этому испытанию, и все его творчество, начиная с программного стихотворения «Мы», это гимн мужеству.

Получая сразу два образования - историческое и литературное, Н. Майоров не мог быть участником всех литературных вечеров, на которых выступали молодые поэты тех лет, - для этого не хватало времени. По своему характеру он менее всего подходил к роли «агитатора и горлана», представляя контраст экспансивному Когану и задиристому Кульчицкому. За Майорова говорили его стихи. Они расходились в списках. А он сам оставался в тени. Насколько мне помнится, Н. Майоров не встречался с С. Кирсановым и другими мастерами, проявляющими интерес к творчеству молодых. Он не присутствовал на знаменитом вечере в Юридическом институте, где возник острый спор между молодыми поэтами П. Коганом, М. Кульчицким и теми, кого они называли «эстетамы». Впрочем, суждения Майорова о поэзии были достаточно определенными. Он не терпел халтуры в поэзии и того облегченного подхода к ее задачам, которому в то время давали дорогу в журналах.

Много говорят о скромности Майорова. Но мне трудно провести грань между скромностью и гордостью. Мне кажется, что не скромность, а гордость препятствовала ему

искать пути к опубликованию своих стихов, хотя он прекрасно знал, что имеет на это право. Как будто он ждал, что редакторы сами придут за его стихами. Один такой случай произошел. К 185-летию МГУ решили издать сборник стихов университетских поэтов. За нашими стихами пришли. Руководитель литгруппы Д. Данин отобрал в сборник восемь или девять стихотворений Майорова, вдвое больше, чем у любого другого кружковца, что соответствовало реальному соотношению успехов нашего творчества. Сборник стихов не вышел. Единственный экземпляр верстки сохранился у Д. Данина.

Впрочем, однажды Майоров все-таки захотел отнести свои стихи в «толстый» журнал. Было выбрано «Знамя», близкое к тематике его стихов. И вот мы с ним на Леонтьевском переулке. В последний момент Майоров раздумал, и я его буквально втолкнул в дверь. О том, что произошло за дверью, я могу только догадываться, как это делал зритель древнегреческого театра, где самые жестокие сцены совершаются за занавесом. Через полчаса Майоров вышел, сжимая в кулаке тетрадку со стихами.

Однажды весной нас собрали в Ленинской аудитории, не сказав зачем. Мы с Колей запоздали и с трудом нашли себе место в задних рядах амфитеатра. Среди студентов двое военных в квадратных фуражках. «Французы!» - шепнул Коля. К кафедре торопливо прошел невысокий человек с седеющими волосами, закинутыми назад. Новый профессор? О чем будет лекция?

Нет, это не профессор, а поэт Илья Эренбург. Он читает нараспев, как многие в те годы.

*По городу они идут
И в городе они живут...
Глаза закрой и промолчи
Идут чужие трубачи.
Чужая медь, чужая спесь,
Не для того я вырос здесь.*

Это стихи о черном дожде над острыми крышами Парижа, о черных слезах на щеках парижанок, о почерневших статуях в пустых залах. Строка - шеренга. Строка - шеренга.

*Не для того - камням молось -
Упал на камни Делаклюз,
Не для того тот город рос...*

За окнами мирная весна. Ветер занес тополиный пушок, и он кружится над нашими головами. Но мы его не замечаем. В наших глазах пепел горящих архивов Парижа.

Мы помним и никогда не забудем статьи Ильи Эренбурга, прочитанные в землянках и траншеях в короткие перерывы между боями. Но те, кто учились в 1941 году, помнят и стихи Эренбурга, принесшие ощущение надвигающейся на нас войны.

По чувству неизбежности схватки с чуждым и враждебным нам миром стихи молодого поэта Н. Майорова и его сверстников были близки к стихам И. Эренбурга, видевшего войну своими глазами в Испании и Франции. Но как поэт Эренбург не был кумиром Майорова. Он тяготел к Борису Пастернаку, Павлу Антокольскому, Илье Сельвинскому. Это были наши учителя, «наши боги, наши педагоги», как однажды метко сказал Борис Слуцкий.

Весть о начале войны пришла к каждому из нас своим путем. Но после этого мы побежали на Истфак и, встретившись, поделились своими мыслями и чувствами. Майоров рассказал о тревоге его подруги, нашей однокурсницы Ирины Пташниковой. И до сих пор Ирина Васильевна, имея новую семью, детей и внуков, сохранила верность своей первой любви. По ее инициативе и участии в день рождения Майорова проходят ежегодные встречи однокурсников, половина из которых не вернулась с фронтов.

Через несколько дней после начала войны мы были мобилизованы на рытье окопов и отправлены в Смоленщину. К Белорусскому вокзалу я шел в колонне рядом с Майоровым.

Незадолго до того я на улице Горького встретил Когана, и он прочитал свои новые стихи «Белорусский вокзал». Тогда я помнил из него несколько строк, которые я и прочитал Майорову. Теперь помнится одна строка:

Вокзал огнями оторочен

Вокзал и вся Москва были во мраке затемнения. Майоров слушал, покачивая головой.

Мы вошли в вагон и полночи тряслись во мраке. Майоров что-то шептал. Рождались новые стихи.

Нас высадили на каком-то полустанке. Я сбегал за водокачку и узнал название полустанка «Снопоть». Услышав его, Коля неожиданно спросил:

- А какая рифма?

- Лапоть! - подхватил кто-то рядом.

Потом в деревне, где нас разместили, - она тоже называлась Снопоть, - мы не раз вспоминали о лаптях и не для рифмы.

Наша обувь, не рассчитанная для тяжелой земляной работы, через месяц рассыпалась. Босиком же с лопатой работать было трудно. Лапти могли бы нас спасти. Но никто из нас не умел их плести.

В сентябре нас отозвали для сдачи государственных экзаменов. Впрочем, экзамены сдавали не все. Майоров экзамены не сдавал. Я его на Истфаке не видел. Последняя наша встреча произошла в Краснопресненском военкомате 15 октября 1941 г. Мы не знали, зачем нас вызывают, и Майоров, пока мы ожидали вызова, развивал план просить военкома о направлении в Пролетарскую дивизию - эта дивизия участвовала в параде, производя впечатление стальной лавины. У меня не было столь определенных планов, и я сказал, что буду воевать там, куда пошлют.

Майорова вызвали первым - вызывали по алфавиту. Так как меня сразу вызвали за ним, поэтому я не сразу узнал о результатах его просьбы. Но из краткого сообщения военкома о том, что нам предстоит немедленно покинуть Москву и отбыть по месту работы или жительства, я понял, что план Майорова о направлении в Пролетарскую дивизию был нереален.

Мы долго бродили вокруг военкомата, а прощаясь, не стовариваясь, обменялись тетрадками стихов. Что было потом? Я вернулся домой и свалился на постель как мертвый. Проснувшись на заре, я побросал в рюкзак, приготовленный для гор, несколько рубашек, буханку черного хлеба, сборничек стихов Пастернака, тетрадку со стихами Майорова, только что полученный диплом и навсегда закрыл для себя двери комнаты N 21 и забил их накрест двумя досками. Образ из моего стихотворения

Двумя досками дверь моей квартиры

Забита накрест в первый день войны.

хронологически неточен. Это было утром 16 октября 1941 года. А потом я влился в толпу, текшую к шоссе Энтузиастов. Вместе со мной была участница нашего кружка Ида Гершкович. С ней мы проделали путь пешком почти что до

Владимира, а оттуда до Новосибирска. Там мы получили разные назначения. Гершкович на Алтай, я в село Северное Новосибирской области. Мое учительство продлилось не более двух месяцев, потребовавшихся для разбора моего заявления с просьбой послать на передовую. Сочли, что специалист с высшим образованием должен быть командиром, и меня отправили в военное училище. В военном училище из всех моих взятых из Москвы вещей сохранились лишь диплом и тетрадка со стихами Майорова. А потом фронт - Волховский, Ленинградский, Первый Украинский. 998 стрелковый полк, откуда я выбыл после ранения за Одером.

В Москву я попал лишь в 1946 году. Тогда я узнал о гибели Иды Гершкович - она была ранена в живот, спасая раненого. Обстоятельства гибели Майорова, Когана, Кульчицкого, нашего кружковца Саши Яковлева были неизвестны.

В 1953 году я, приехав из Пензы, где тогда работал, пришел в редакцию журнала «Знамя» на Леонтьевский переулок, туда же, куда в конце 1939 г. относил свои стихи Майоров. У меня дрожали руки. Мне казалось, что такое же волнение испытывал редактор, державший в руках измятую за войну тетрадку стихов Майорова. Через несколько лет (1956 г.) стихи были напечатаны с предисловием П. Антокольского.

Будучи куратором студенческих групп уже в Воронеже, я иногда рассказывал своим юным слушателям о Майорове и о моих встречах с Коганом и Кульчицким. К началу 60-х годов некоторые из них знали стихи моих друзей наизусть, но почти ничего не знали о них. Мои рассказы воспринимались так, как ни одна лекция на увлекательные темы древней истории. В глазах ребят я улавливал огонек зависти. Еще бы! Встречаться с автором знаменитой «Бригантины»? Пожимать ему руку? Слышать от него строки:

*Широка страна Россия,
Поле желто, небо сине,
Широка.*

Меня спрашивали, где это напечатано? Я не знал. И, проверяя, понял, что моя память впитала немало из того, что не сохранилось на бумаге. Мои друзья ушли в легенду, а я стал очевидцем, «историческим источником», значение которых выявляю в своих научных трудах. Ведь великий

Фукидид и не менее великий Полибий, повествуя о войнах своего времени, обращались к воспоминаниям и даже выработали приемы их проверки.

Однажды ко мне пришли учащиеся техникума из подмосковного поселка Рыбное. Беседуя с ними, я понял, что они работали над воспоминаниями о молодых поэтах, не вернувшихся с передовой, как настоящие историки. И им удалось отыскать могилу Майорова. Спасибо вам, ребята, за вашу память, за ваш труд.

Я нашел и дал им фотографию, перепечаток снимка из «Правды», за моей спиной слева Коля Майоров, а впереди, опершись локтем на стол, Саша Яковлев, напоминающий профилем Наполеона. В центре рядом с молодым и нынешним моим другом Колей Банниковым, Ида Гершкович, павшая смертью храбрых в карельских лесах.

Впрочем, если вы хотите представить, какими они были, мальчики и девочки сороковых, те, кто остались на передовой, отложите фотографии. Вспомните, как писал Майоров:

*И вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображен.*

Но стихи вам не солгут. Каждая сохранившаяся строка - черта поколения, рожденного для подвига: неуспокоенность, неуемность, гордость родиной, верность идеалам революции, воинствующий интернационализм, любовь к России. Но, вчитавшись, вы легко выделите из обобщенного портрета индивидуальные черты.

Тема грозы вошла в творчество многих моих друзей. Но Майоров ее решает, обратившись к народной примете:

*Будет дождь. Роняют птицы перья
Из пустой, далекой синевы.
Он войдет в косые ваши двери
Запахом немолкнувшей травы.*

Коган отыскал в грозе косой угол молнии, выведя формулу поколения:

*Косым стремительным углом
Переломившейся ветлой
На землю падает гроза...
Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал.*

Кульчицкий находит в грозе метафору боя:

*Приходит бой с началом жатвы.
И гаснут молнии в цветах,
Но молнии пружиной сжаты
В затворах, тучах и сердцах.*

Чутко и напряженно вслушивались начинающие поэты в эпоху, улавливая раскаты близкой грозы. Ощущение надвигающейся тревоги и беды для себя и своего народа было чуждо многим из уже сложившихся и печатавшихся поэтов того времени. Оно могло восприниматься как неоправданный пессимизм и трактоваться как оппозиция тезису, что победа будет быстрой и едва ли не бескровной. Вот почему был рассыпан университетский сборник, и «Мы» не вышло на страницы многотиражки.

Нередко, включая телевизор, я слышу, как юноша с незнакомым лицом и не тем голосом (в голосе Майорова не было звонких ноток, он был глуховатым) читает:

*Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог,
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей верной нам земли.
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество как знамя пронесли.*

Голос Майорова приобрел такую громкость и такое звучание, о которых в годы нашей юности нельзя было и мечтать. И в этом тоже часть нашей победы.

